



# Константин Михайлович Станюкович

## Мрачный штурман

*OCR & SpellCheck: Zmiy (zmiy@inbox.ru), 12 марта 2003 года*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=137552](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=137552)*

*К.М.Станюкович. Собр.соч.в 10 томах. Том 3: Издательство  
«Правда»; Москва; 1977*

# Содержание

I	7
II	10
III	14
IV	18
V	27
VI	29
Конец ознакомительного фрагмента.	30

**Константин Михайлович  
Станюкович  
Мрачный штурман  
рассказ <sup>1</sup>**





# I

После трехлетнего дальнего плавания с грозными подчас штормами и непогодами, после тепла и приволья южных широт с их роскошными пейзажами, вечно греющим ярким солнцем, беспредельной высью бирюзового неба и волшебными тропическими ночами – корвет “Грозный” в 186\*году возвращался на далекую родину.

На корвете было сто семьдесят пять человек команды, шестнадцать офицеров, доктор и иеромонах.

Все радовались возвращению. Долгое плавание, несмотря на все прелести природы, порядочно-таки надоело. Всем – и офицерам и матросам – хотелось поскорей на сушу, отдохнуть после продолжительной, полной тревог и случайностей, жизни на море.

Надо было поспеть в Финский залив до заморозков, и потому все торопились.

Чуть затихал попутный ветер, и вся поставленная парусина еле двигала корвет, или ветер начинал задуть “в лоб”, принуждая к томительной лавировке, – как отдавалось приказание разводить пары, и старший механик, Иван Саввич Холодильников, давно уж скучавший по Кронштадту, где осталась молодая жена, – торопливей и веселей, чем обыкновенно, облакался в свою просаленную и прокопченную “ма-

шинную” куртку и с радостным лицом бежал к себе в “преисподнюю”, переваливаясь всем своим худым, костлявым туловищем, похожим на плохо собранную машину, и размахивая, словно крыльями, длинными, никогда не находившими места руками.

И скоро “Грозный”, попыхивая дымком из своей короткой горластой трубы, шел вперед полным ходом, подрагивая кормой под однообразный и равномерный стук машины.

Редкие заходы в попутные порты за углем и за свежей провизией отличались теперь короткими стоянками, не позволявшими любознательным мичманам основательно знакомиться с местными ресторанами и красотой туземок. Капитан, изнывавший в ожидании увидеть жену и детей, торопился сам и поторапливал всех. Значительно смягчившийся характером, по мнению молодых мичманов, с тех пор как получено было предписание “следовать в Кронштадт”, и “разносивший” подчиненных далеко не с прежней страстной стремительностью, он при каждом заходе в порт без обычной раздражительности просил “медлительного барона”, ревизора корвета, “не копаться” и как можно скорей оканчивать расчеты с берегом.

Но просьбы капитана на этот раз были излишни.

Барон Оскар Оскарович, которого матросы перекрестили в “Кар Карыча” и звали потихоньку “долговязой цаплей”, и без капитанских просьб сбросил теперь свою упрямую, методичную и самодовольную остзейскую флегму и с удивитель-



ной в нем быстротой летал к консулам, торопил поставщиков, принимал провизию без придиричивой мешкотни и заставлял грузить уголь по ночам, ибо, в свою очередь, торопился в Митаву, к невесте; портреты ее в различных позах и костюмах влюбленный барон получал чуть ли не каждой почтой и теперь предвкушал счастье скоро припасть к ногам оригинала.

Таким образом, корвет нигде не застаивался и не терял времени, что, разумеется, очень радовало всех женатых людей и влюбленных женихов и несколько огорчало некоторых молодых офицеров, не сидевших, как большая часть молодежи, “на экваторе” и мечтавших было “просадить” сотни две-три франков в Париже. Но увы! – в Шербурге <sup>2</sup>, где сперва предполагали краситься, корвет простоял лишь сутки, и Париж “улыбнулся”.

– По крайности, денежки ваши целы, – утешал раздобревший за время плавания отец Агафон.

– Вам, батя, хорошо рассуждать... Вы – монах.

– В каких это смыслах?

– А в таких смыслах, что вас не должна смущать прелесть француженок, а нас смущает... Впрочем, если бы вы увидели их в Париже...

– Замолчите, бесстыдники, – добродушно останавливал мичманов отец Агафон и затыкал обеими руками уши, оставляя, однако, щелочку.

---

<sup>2</sup> Шербург (Шербур) – город во Франции.

## II

Ввиду скорого окончания плавания и настроение команды сделалось веселым и приподнятым. Еще бы! Матросам, более чем кому-либо, “очертело” это шатание по океанам, полное беспокойств, трудов и опасностей суровой морской службы, с частыми порками и зуботычинами, с вечной руганью за малейшую оплошность, приводившую в ярость офицеров “дантистов”, которых на корвете было довольно-таки.

На баке и в палубе матросы, рассчитывавшие после “дальней” сходить домой на побывку, чаще, чем прежде, лясничают о “своих местах”, а женатые, обстоятельные матросы, и те из холостых, которые не прогуливали на берегу всех денег, чаще заглядывают в свои парусинные мешки, чтобы пересмотреть прикопленные за три года собственные вещи (преимущественно рубахи) и заграничные гостинцы для баб. Старики, ожидающие “чистой” и, вероятно, плавающие в море последний раз в жизни, толкуют между собой о разных “способных должностях”, которые могли бы они исполнять, если не поживется в деревне.

В кают-компании те же темы разговоров. Холостые офицеры с веселым оживлением беседуют о том, кто куда поедет после плавания. Наверное, дадут шестимесячный отпуск с сохранением содержания и годовой оклад не в зачет, в виде награды. Значит, можно заново экипироваться. Особенно

экспансивны мичмана, недавно произведенные из гардемарinov. Многие из них ушли в плавание безбородыми, безусыми юношами, а теперь возвращаются молодыми людьми, с загорелыми, огрубевшими, свежими лицами, с шелковистыми бородками, окрепшими голосами, с некоторой напускною серьезностью и преувеличенным щегольством манерами заправских “морских волчков”.

Каждого из них давно нетерпеливо поджидают в семьях. Каждого сладко манит радость свидания после долгой разлуки и давно не испытанная прелесть родного гнезда, где мать и подростки сестры и братья с благоговейным вниманием и с гордой любовью будут слушать по вечерам, собравшись тесным кружком, рассказы вернувшегося странника. И вся обстановка “той” жизни, совсем не похожая на настоящую, кажется теперь особенно уютной, приятной и милой.

“Там” не будет ни “мокрых” ночных вахт, ни постоянной качки, ни штормов, наводящих трепет, бережно скрываемый от чужих глаз под видом небрежного равнодушия, ни отчаянных “разносов” свирепеющего от вечного одиночества капитана, который приучил себя каждому пустяку придавать серьезное значение, ни замечаний педанта старшего офицера, представляющегося занятым одной лишь службой. “Там” не услышишь этих внезапных, способных разбудить мертвого, окриков боцмана: “Пошел все наверх рифы брать!” – окриков, заставляющих среди ночи выскакивать из теплой койки и, наскоро одевшись, стремглав лететь на-

верх на палубу. “Там” не придется постоянно и неизменно видеть одних и тех же людей, сведенных на пространстве длиною в сто шестьдесят фут; обязательное непрерывное общение с ними делает подчас самых лучших людей невыносимыми друг другу, по крайней мере на время, пока “берег” с его удовольствиями не даст новых впечатлений, и эти самые люди, казавшиеся благодаря скуке и однообразию томительного тридцатидневного перехода “невыносимыми”, – снова кажутся не такими уж тяжелыми людьми, и беседы с ними после “берега” опять получают интерес. “Там” нет этой тесной каютки, где все “принайтено”, – узкой и темной, с наглухо “задраенным” иллюминатором, обмываемым седой волной, которая иногда невольно заставляет думать, что лишь несколько дюймов дерева отделяют человека от этого страшно-таинственного бездонного океана, которому ничего не стоит поглотить корвет со всеми его обитателями. Какая-нибудь роковая случайность – столкновение, пожар, ураган – и... все кончено. Океан, по-прежнему загадочный и таинственный, с прежним бессмысленным бешенством будет катить свои седые валы над местом, где только что волновались, мечтали, надеялись, – словом жили две сотни людей...

Такие мысли об “изнанке” плавания теперь чаще лезут в голову, хотя, по ложному стыду, о них никто не решается говорить. И возвращение становится еще желаннее и милее. И разговоры о поездках в разные уголки России не истощают-

ся среди молодежи.

### III

Семейные люди – доктор, механик и артиллерист – никуда не собираются. Им только бы поскорей добраться до Кронштадта, где свиты оставленные ими гнезда. Люди солидных лет, они не пускаются в откровенные излияния, но зато обнаруживают малодушное нетерпение и раздражительность каждый раз, когда засвежеет противный ветер, разводя большое волнение, и “Грозный”, не отличающийся сильной машиной, еле подвигается вперед, клюя носом и с трудом выгребая против ветра, или когда стоянка где-нибудь кажется им продолжительною.

В первом случае они то и дело выходят наверх и сердито и беспокойно посматривают и на небо, покрытое тучами, и на воду, справляются о барометре и молчаливо хмурятся в кают-компании, а во втором – с затаенным недоброжелательством бросают взгляды на ревизора, когда он, усталый от беготни, хлопот и пререканий на берегу, возвращается на корвет и с мрачным видом, молча пьет чай в кают-компании, только что выругав совершенно безвинного вестового.

“И чего он копался на берегу, этот долговязый барон? Отчего до сих пор не везут угля? Ведь так мы опоздаем в Кронштадт!” – досадливо думают они. И все косо поглядывают на “долговязого барона”.

Но ревизор мрачен, как ночь, и никто не отваживается на

расспросы, выжидая, когда начинавшее лысеть чело молодого барона немного прояснится.

В эту минуту входит в кают-компанию мичман Петров, прозванный “легкомысленным мичманом”. Он только что выспался перед ночной вахтой и, заметив ревизора, немедленно спрашивает, щуря спросонков глаза:

– Что, барон, скоро дождемся угля?

Это было слишком даже и для такого флегматика, как “долговязая цапля”! Этим углем его уж успели довести до белого каления, едва он, выскочив со шлюпки, показался на палубе.

– Когда же уголь? – встретил его с немым укором капитан, едва сдерживаясь от желания по крайней мере “вдребезги разнести” барона.

– Скоро ли уголь-с? – сухо спросил старший офицер.

– Отчего не везут угля? – считал долгом остановить барона каждый из гулявших на палубе.

Хотя барон, щеголявший своей джентльменской остзейской выдержкой, и отвечал всем по обычаю изысканно любезно, длинно и обстоятельно, но внутри у него кипело. Раздраженный и отсутствием обещанных консулом шаланд с углем, и немым укором капитана, во взгляде которого он ясно прочел сдержанную злобу, и обилием этих вопросов об угле, полных, казалось, скрытых обвинений, барон был весь начинен досадою и гневом, когда, наконец, спустился в кают-компанию и молча отхлебывал чай, чувствуя бросаемые

на него не особенно ласковые взгляды доктора и остальных женатых.

Таким образом, вопрос “легкомысленного мичмана” был фитилем, приставленным к заряженной пушке.

И барон теряет свое самообладание. Весь вспыхивая, он накидывается на мичмана.

– Да что вы ко мне пристаёте с углем, позвольте вас спросить? – восклицает он раздраженным, гневным голосом. – На себе я его привезу, что ли, как вы думаете?

Но так как мичман, ошалевший от этого неожиданного взрыва, в первую секунду мог лишь удивленно вытаращить глаза, то барон снова выпаливает:

– Разве я виноват, что этот англичанин, имеющий честь называться русским консулом, такое животное? Должен ли я отвечать за него, или не должен, по вашему мнению?

И, разумеется, не дожидаясь мнения мичмана, барон продолжает “разряжаться”.

Он, вот, с раннего утра, сегодня, как собака, рыскал по городу, высунувши язык, а все: “Когда уголь?”, “Отчего нет угля?” Нечего сказать, деликатно! Поехали бы сами, посмотрели, как с консулом дела делать. Три раза он был у этого рыжего дьявола из-за угля. Сперва было совсем отказал найти людей по случаю воскресенья... Наконец дал слово, что к шести часам шаланды будут, а их нет. Это черт знает что такое! Пускай капитан жалуется на подобных консулов... Консул – скотина, а ревизор виноват!



– Покорно вас благодарю! – неожиданно прибавляет барон, взглядывая со злостью на мичмана.

– Но позвольте, барон...

– Что “барон”! Барону никакого отдыха нет... Барону вот сию минуту надо опять ехать на берег из-за этого консула, а вам что?... Спите сколько угодно... Покорно благодарю!

– Да разве я, барон...

– Побыли бы вы ревизором, испытали бы эту каторгу! – продолжает он, несколько смягчаясь, по-прежнему не обращая ни малейшего внимания на попытки мичмана закончить фразу.

По счастью, вбегает рассыльный и докладывает, что идут шаланды с углем.

И барон, не закончив чая и своих ламентаций, выскакивает наверх. Лица женатых проясняются. Только “легкомысленный мичман” с минуту находится в недоумении, за что это обрушилась на него долговязая цапля.

– Верно, попало ему от капитана, а? – смеется он, обращаясь к присутствующим.

## IV

По мере того, как “Грозный” приближается к северу, видимо возрастает общее нетерпение. Уже высчитывают остающиеся дни плавания (“если, бог даст, не будет никаких случайностей”, – опасливо прибавляют люди постарше) и чаще стыдят старшего механика за то, что “Грозный”, несмотря на полный ход и на самую благоприятную погоду, “ползет” как черепаха, всего по семи с половиною узлов в час.

– Хоть бы до восьми постарались, Иван Саввич! – говорят ему, когда он показывается в кают-компаний.

Все, разумеется, отлично знали, что Иван Саввич, заботившийся о своей “машинке”, как нежно называл он двухсотпятидесятисильную машину корвета, точно о родной дочери, и сам “старался” и нисколько не виноват, что его “машинка” большего хода давать не могла, но надо же было излить досаду нетерпения, тем более что объект этих жалоб, милейший Иван Саввич, был в высшей степени мягкий, добродушный и невозмутимый человек.

И он не обижался.

Покуривая дешевую манилку <sup>3</sup> и теребя свои реденькие рыжеватые бакенбарды, окаймлявшие рябое, покрытое веснушками лицо, с съехавшим чуть-чуть на сторону носом и

---

<sup>3</sup> Манилка – сорт дешевых сигар.

большими голубыми глазами, кроткое и умное выражение которых значительно смягчало некрасивость его лица, Иван Саввич терпеливо отмалчивался или замечал, добродушно улыбаясь:

– Больше ходу взять неоткуда... Слава богу, идем хорошо. И то подшипники нагреваются! – озабоченно прибавлял Иван Саввич.

– Нечего сказать... хорош ход!.. – иронизировал кто-нибудь.

– И такого хода не будет.

– Это почему?

– А если засвежеет... Кажется, к тому дело идет! – пугал Иван Саввич.

– Типун вам на язык, Иван Саввич!

– Небось этого не любите! – смеется Иван Саввич.

Но когда суточное плавание корвета, благодаря попутному ветру, бывало не менее двухсот миль, большая часть семейных людей расцветала.

Экспансивнее других женатых выражал в такие дни свою радость доктор Лаврентий Васильевич Жабрин, высокий, крупных размеров, видный толстяк, лет за сорок, с громадным животом, снискавшим ему большой почет и уважение среди китайцев. Его шаровидное румяное лицо с двойным подбородком, с мясистым носом, толстыми сочными губами и маленькими, заплывавшими жиром глазками – лицо с благодушно-довольным выражением уравновешенного челове-

ка — теперь положительно сияло и потому, вероятно, казалось еще ординарнее и глупее, чем обыкновенно.

Лаврентий Васильевич был совсем обленившийся, заживший человек, идеалы которого давно сузились в рамках маленького, нетребовательного личного благополучия и ленивого покоя. В течение трех лет плавания он большую часть времени просиживал на своем постоянном почетном месте, рядом с местом старшего офицера — на диване, или в приятном и всегда нетерпеливом ожидании часов еды, или в ошеломленном состоянии хорошо покушавшего обжоры, чувствующего ко всем прилив необыкновенного дружелюбия вместе с неодолимым желанием расстегнуть нижние пуговицы, стесняющие громадный живот, и подремать, подсапывая и подсвистывая носом, с засусленной сигарой во рту.

Это неизменно блаженное настроение доктора нарушалось лишь тогда, когда на корвете случались больные. Тогда Лаврентий Васильевич становился раздражительным и озабоченным. Он терпеть не мог больных, особенно таких, которые продолжали хворать и после натирания горячим уксусом — этого излюбленного Лаврентием Васильевичем средства против всяких болезней. Приходилось, таким образом, беспокоиться и изыскивать другие средства, а между тем профессиональные познания доктора, по-видимому, были не из обширных. Он давно не заглядывал в медицинские книжки и предоставлял больше природе делать свое дело, помогая лишь ей уксусом, горчичиками и касторовым мас-

лом. Вероятно, потому он отрицал и самую медицину, утверждая, что она еще в младенчестве, что еще не вполне познано, как лекарства действуют на организм, и, следовательно, несравненно, мол, лучше обходиться по возможности без лекарств.

И обыкновенно добродушный Лаврентий Васильевич серьезно сердился, когда матрос жаловался на нездоровье.

— Ну, чем ты, каналья, болен? Какая у тебя болезнь может быть? Просто полодырничать в лазарете захотелось, а? Так ты так и скажи, а то: болен!

— Никак нет, вашескорodie... Ломит всего... Нутренности горят, вашескорodie...

— Гмм... Ломит? “Нутренности” горят? — сердито ворчит Лаврентий Васильевич. — Посмотрим, посмотрим, братец... Покажи-ка язык!

Матрос добросовестно высовывает язык, весь покрытый белой пленкой.

Доктор хмурится. “Кажется, в самом деле болен, шельма”, — думает он.

— Так ломит, говоришь ты?

— Ломит, вашескорodie.

Лаврентий Васильевич тогда пробует рукой голову, щупает пульс и, обращаясь к фельдшеру, отважно приказывает:

— Антонов! Натереть его покрепче горячим уксусом да напоить малиной... Пусть хорошенько пропотеет. А к вечеру, если не будет лучше, дать две ложки касторового масла...

- Не прикажете ли, ваше высокоблагородие, для верности дать прием хины на случай, если febris gastrica <sup>4</sup>...
- Что ж, можно и хинки дать... Дай, братец, дай.
- Сколько прикажете: десять гранов?
- Пожалуй, десять.

По счастью для врача, а еще более для матросов, серьезно больных на корвете почти не было, и таким образом укус, малина, горчичники и касторовое масло успешно делали свое дело вместе с фельдшером Антоновым, к которому матросы гораздо охотнее прибегали за помощью, чем к “ленивому борову”, как нелюбезно звали доктора на баке.

Возвращение в Россию несколько встряхнуло и Лаврентия Васильевича. Он сбросил обычную лень и неподвижность и по временам даже “нервничал”, то есть ел без особенного обжорства. В “счастливые дни” хорошего суточного плавания он оживлялся, охотно угащивал желающих “марсальцей” <sup>5</sup> и чирутками <sup>6</sup> из Манилы, рассказывал свои любимые анекдоты скромного содержания (давно, впрочем, всеми слышанные), первый заливаясь в конце анекдота густым, сочным, утробным смехом, и надоедал всем расспросами: “Когда придем в Кронштадт?”

Скорей бы добраться! Довольно с него этого долгого плавания. Шутка сказать: три года! Он уж больше ни за что не

---

<sup>4</sup> желудочная лихорадка (лат.).

<sup>5</sup> Марсальца – марсала – крепкое десертное виноградное вино.

<sup>6</sup> Чирутка – сорт дешевых сигар.

оставит своей Марьи Петровны и троих ребяток и не пойдет за границу (бог с ней!), хоть заграничное плавание и выгодно, конечно, в материальном отношении. Но он не гонится за большим. Он не жаден к деньгам и не мечтает о карьере. Он не намерен ради усиленного оклада подвергаться беспокойствам и жить в разлуке с любимой семьей. Довольно и трех лет!.. Слава богу, за три года он кое-что скопил про запас.

— По нашим скромным требованиям как-нибудь проживем и с береговым содержанием! — весело, с чувством полного удовлетворения, прибавлял довольный Лаврентий Васильевич, заранее предвкушавший сладость осуществления своей давнишней мечты, из-за которой, собственно говоря, он, этот ленивый толстяк и счастливый семейный человек, и просился в кругосветное плавание. Мечта эта — покупка маленького деревянного домика с садиком, — конечно, в одной из дальних кронштадтских улиц, где дома дешевле, — уже рассмотренного и приторгованного Марьей Петровной, образцовой хозяйкой и женой, до сих пор влюбленной в своего “Лаврика”, такой же высокой, крупной, дебелой и еще моложавой, как и ее супруг. Там, в собственном домике, план которого недавно прислала жена, он отлично разместится в шести комнатах со своей “Машетой” и тремя мальчуганами и снова заживет в семье, среди любимых и любящих лиц, в приволье домашнего уюта и общей ласки, не стесняясь летом ходить по саду в своем любимом халате. Сад-то ведь собственный!.. Покойное место старшего экипажного врача (ле-

чить больных, слава богу, не придется – на то есть госпиталь!), не требующее никаких занятий, хозяйственные беседы по утрам за чаем с Марьей Петровной, прогулка по службе в казармы, в полдень рюмка-другая хорошей водки с домашними соленьями, в третьем часу сытный домашний обед в веселой компании вернувшихся из гимназии двух старших мальчиков и маленького, общего баловня, чудесные наливки и славное варенье к чаю, заготовленные в изобилии к приезду Лаврентия Васильевича, сладкая дремота после обеда в кресле и ласковый шепот жены: “Усни, Лаврик, на кровати”, вечера в клубе или дома с несколькими хорошими игроками за вистом <sup>7</sup> по маленькой, эдак робберов <sup>8</sup> двенадцать, вкусная закуска с обильной, выпивкой привезенной марсалы и затем безмятежный сон счастливого человека на мягкой пуховой постели рядом со своей Машетой, необыкновенно авантажной в своем кокетливом ночном чепчике, из-под которого выбиваются черные косы, всегда нежной и ласковой (даже в случае проигрыша Лавриком за вистом), – не счастливая ли это в самом деле жизнь, за которую можно только благодарить судьбу?!

Такие мысли в последнее время все чаще и чаще приходили в голову благополучного Лаврентия Васильевича, и он все более и более разгорался желанием скорее вкусить давно не испытанных тихих радостей семейной жизни и бросить-

---

<sup>7</sup> Вист – карточная игра.

<sup>8</sup> Роббер – карточный термин, означающий тройную партию при игре в вист.



ся в объятия своей верной Машеты. И сама эта тридцатипятилетняя, полная и рыхлая Машета с моложавым и румяным, но самым банальным лицом, которую мичмана, видевшие Марью Петровну на проводах, дерзко окрестили “холомогорской коровой”, рисовалась теперь пылкому воображению соломенного вдовца в самом очаровательном, соблазнительном виде, далеко не соответствующем действительности.

– Через неделю придем, не правда ли? – обращался ко всем возбужденно Лаврентий Васильевич.

– Придем... придем!.. А небойсь много везете с собой денег, доктор? – спрашивали молодые люди.

– Так, кое-какие деньжонки есть! – с уклончивой скромностью отвечал доктор.

– У доктора, господа, в кубышке, наверное, тысяч десять лежит! – уверенно выпаливает “легкомысленный мичман”, возвращавшийся, как и большая часть молодежи, без гроша в кармане.

– Уж и десять! Не жирно ли будет?

– А сколько?

– Слава богу, если тыщонки три наберется! – скромно говорил он, уменьшая про всякий случай на две тысячи с хвостиком цифру своих сбережений.

– Не маловато ли, доктор?

– А вы, видно, лучше меня знаете? – недовольно замечает Лаврентий Васильевич, не особенно охотно посвящавший

посторонних в свои денежные дела.

— Мы думали, гораздо более, и рассчитывали, что вы по случаю возвращения нас всех угостите шампанским!

— Ну, уж это шалите!.. У меня на шампанское, господа, денег нет... У меня не шальные деньги, как у вас, у легкомысленного мичмана! Однако что ж это не накрывают на стол? — круто обрывает доктор щекотливый разговор. — Уж время и обедать! — прибавляет он, взглядывая на часы.

И при мысли об обеде маленькие свиные глазки Лаврентия Васильевича загораются плотоядным огоньком. Он освещается, какие будут кушанья, и сладко подсасывает своими толстыми, мясистыми губами.

## V

Среди всех этих радостных и веселых лиц моряков один лишь старший штурманский офицер, Никандр Миронович Пташкин, сохранял обычный свой сдержанный, холодный и сумрачный вид, не обнаруживая ничем, по крайней мере на людях, ни нетерпения, ни радости по случаю возвращения в Россию и никогда не заговаривая об этом, точно ему было все равно и точно его никто не ждал в Кронштадте.

Он был, как и всегда, молчалив и серьезен, этот непроницаемый и для многих загадочный человек, строгий педант по службе, аккуратный, как судовые хронометры, за которыми смотрел, точный, как его ежедневные вычисления, ни с кем не сближавшийся за время трехлетнего плавания и державшийся неизменно особняком, с амбициозным чувством собственного достоинства и подозрительной осторожностью непомерно мнительного и самолюбивого человека, не допускавшего никакой короткой фамильярности, никакой шутки в отношениях, особенно со стороны флотских офицеров — этих “аристократов службы”, к которым в качестве “парии штурмана” он питал традиционную глухую. Ненависть, зависть и затаенное презрение.

А между тем навряд ли был на корвете человек, который бы ждал прихода в Кронштадт с таким страстным нетерпением, как этот самый “непроницаемый” Никандр Мироно-

вич, целомудренно-ревниво таивший от посторонних глаз свои чувства, словно бы боясь профанировать их и показать-ся смешным в образе влюбленного пожилого мужа.

Он, как школьник, считал у себя в каюте остающиеся дни и часы до предположенного им прихода, мучительно страдал при каждой задержке и безумно радовался при каждом лишнем узле, замирая, как влюбленный юноша, при мысли о свидании с молодой женой, которая была все в его жизни: ее счастье, радость, ее единственный смысл. Он успел с ней пробыть лишь два счастливые короткие года и любил, вернее – боготворил жену со всею глубиной и силой своей первой поздней страсти, полный благодарной признательности пожилого, сознающего свою скромную внешность человека к молодому, расцветающему созданию, которое серенькие мрачные будни его прежней одинокой, никому не нужной жизни вечного труженика обратило во что-то светлое и радостное, хотя по временам и жутко мучительное, когда внезапно набегала мнительная мысль: “А что, как это счастье вдруг кончится и жена полюбит кого-нибудь молодого, красивого, изящного, как она сама?”

Ужас охватывал в такие минуты Никандра Мироновича...

## VI

В день ухода из Кронштадта она приезжала на корвет проводить мужа, эта свежая, стройная, со вкусом одетая, красивая молодая брюнетка, с прелестными черными глазами, с родинкой на щеке и раздувающимися розовыми ноздрями задорно приподнятого носика над пунцовой, подернутой пушком губой. Она была задумчива, серьезна и слегка грустна, что, однако, не мешало ей по временам улыбаться, показывая маленькие, ослепительной белизны зубки, и украдкой от мужа бросать на любующихся ею молодых моряков быстрые, как молния, полные жизни, блеска и огня, кокетливые взгляды и тотчас же скромно опускать их, прикрывая глаза, словно сеткой, длинными густыми ресницами и снова принимая прежний задумчивый и печальный вид жены, опечаленной разлукой.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.